
РАДИКАЛЬНЫЙ
ДЕКРЕТ
ВЯЧЕСЛАВ ГУСЕВ

Вячеслав Гусев

Радикальный декрет

https://litres.ru/74727879
SelfPub; 2026

Аннотация

1917 год. Большевики объявляют старость излечимой болезнью — и запускают механизм, который меняет саму природу времени. Декрет «Об отмене биологической старости» становится не триумфом науки, а фундаментом новой тоталитарной реальности, где молодость — ресурс, а смерть — расходник.

Содержание

Глава 1. 4
Глава 2. 12
Глава 3. 20
Глава 4. 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Вячеслав Гусев
Радикальный декрет

Глава 1.

Пятый час утра. В служебной комнате при распределительной комиссии №4 на Разъезжей было холодно, как в склепе. За окном, на пустынном дворе, синяя морось оседала на булыжники, и тени ночных очередей ещё не растворились в сером рассвете. Пахло пылью, старой бумагой и чуть — карболкой, словно кто-то слишком усердно протирал столы. Печка-буржуйка давно проглотила последние дрова, и от её чугунного бока тянуло мёртвым холодом. Глеб Рунов сидел за столом; пальцы машинально скользили по обложке «паспорта времени» — кожа вытерлась на сгибах, как у старого молитвенника. На цифры он не смотрел: знал их наизусть. 34 года, статус «омоложен», резерв — 12 лет, гриф «служебный приоритет».

Двенадцать лет. Слойка чужих часов, выданная государством, — и каждое утро она таяла на долю, невидимую глазу, но слышную сердцу. Рунов не признавался в этом даже самому себе: признание стоило дороже, чем эти часы.

Санитар Пётр Данилыч, бывший фельдшер германской войны, стоял рядом со штампом в руках. Двигался он разме-

ренно, почти ритуально — так держатся люди, которые знают: любая спешка здесь пахнет паникой. Штамп у него был старый, резиновые литеры стёрлись, и слово «ПРИНЯТО» выходило на бумаге бледным, полупризрачным. Открыл паспорт, сверил отметку, поднял глаза — не строго, а устало, будто видел перед собой не комиссара, а просто человека, которому уже нечего скрывать.

— Не боитесь, комиссар? — спросил он вполголоса, словно опасаясь, что стены услышат.

Рунов ответил раньше, чем успел подумать:

— Нет.

И только когда слово повисло в воздухе, понял, что солгал. Не кому-то — себе. Впервые за пять лет он поймал себя на лжи. Странное это было чувство, как в давно знакомой комнате вдруг отыскался лишний угол. Вспомнился тот день, когда его собственное время перетекло в резерв: белая комната, запах эфира, чья-то рука, быстро записывающая цифры в бланк. Ни страха, ни радости — пустота, словно его вынули из времени, как вещь из шкафа, и поставили на полку.

Пётр Данилыч кивнул, будто и не ждал другого ответа, и протянул Рунову повестку из управленческого отдела. На конверте стояла отметка «приоритетно», внутри лежал лист с делом №4417. Рунов мельком заметил странность: в графе «согласие донора» не было строки — её словно вырезали. Он сунул бумагу в папку, но мысль царапнула изнутри: если

согласия нет, значит, есть другой способ оформить перетекание. И этого способа не должно существовать.

За тонкой перегородкой раздевалки шептались курьеры — Федька и Афоня. Федька, молодой и нервный, поправлял лямки сумки, будто от этого зависела его судьба. Афоня, бывалый, говорил вполголоса, с насмешливой интонацией:

— Опять у комиссара всё гладко. А у нас ноги гудят.

— Так ведь он не ногами ходит, — буркнул Федька. — Он бумажками.

Рунов замер на секунду: внутри что-то сжалось — не обида, стыд, холодный и тяжёлый, как мокрый кирпич. Он вышел в коридор, пахнущий керосином и сыростью, и пошёл к залу заседаний, зная: сегодня машина снова потребует от него не думать, а подписывать.

Дорога в зал лежала через вестибюль, где в шкафу за стеклом пылилась стопка бланков строгого учёта. Рунов шёл мимо них, как мимо зеркала, в которое не хочется смотреться: каждый бланк был чьей-то жизнью, расчерченной на графы.

Зал заседаний комиссии №4 встретил его привычным полумраком. Высокие окна пропускали тусклый свет; керосиновые лампы шипели, как недовольные змеи. Стол был накрыт серой скатертью, под которой гулял сквозняк: шевелил края бумаг, словно пытался унести их прочь. От пола, из щелей старого паркета, ползла стужа, и ступни быстро отупели даже в валенках. За столом уже сидели Марья Гвоздёва, помощница и следователь, с папкой, прижатой к груди, как

щит; секретарь Прохор Усыскин, щёлкавший карандашом, будто отбивал ритм; и новенький инструктор Крайнев, ещё не привыкший к тому, что здесь смерть — графа в протоколе. У Крайнева были широкие, неумелые руки человека, который недавно держал другое — и теперь не знал, куда их девать.

Рунов сел во главе стола, положил перед собой дело №4417 и раскрыл его. Дело оказалось тонким — всего четыре листа, и от этой тонкости делалось не по себе: целую жизнь уместили на четырёх страницах. Учительница Ольга Ветрова — ей продлевали время. Донор — сапожник Гаврилов, 60 лет, «не занят в стратегических работах». Сапожник. Шил, подгонял, латал — а теперь его годы латают чужую жизнь. Рунов пробежал глазами строки и снова зацепился за пустоту — отсутствие строки о согласии. Хотел сказать об этом вслух, но слова застряли в горле, как кость.

Марья заметила заминку; пальцы её дрогнули, когда она поправила папку.

— Товарищ комиссар, — тихо сказала она. — В деле нет отметки о согласии донора. По норме двухлетней давности это обязательный пункт.

Крайнев наклонился вперёд, будто хотел рассмотреть Рунова поближе.

— А что стало с семьёй донора? — спросил он просто, без пафоса. — У меня отец сапожник, товарищ Рунов. Он бы не хотел, чтобы его годы кому-то отдали.

Сказал — и, кажется, сам испугался своих слов: покраснел, уставился в скатерть. В зале повисла тишина, густая и неудобная, как пролитое масло. Усыскин перестал щёлкать карандашом. Рунов сжал кулаки под столом. Он знал, что должен ответить заученной фразой — о высшей справедливости, о нуждах государства, о том, что личное не имеет значения. И произнёс её, но голос прозвучал глухо, словно принадлежал кому-то другому.

— Решение принимается в интересах общества. Протокол принят единогласно.

Он закрыл папку — щелчок прозвучал как выстрел. В тот миг Рунов понял: проголосовал не убеждением, а трусостью. Он боялся признать, что система даёт трещины, потому что тогда пришлось бы признать: и он — часть этой трещины.

После заседания Марья задержала его у двери. Она держала рапорт, но не протягивала — словно опасалась, что он оттолкнёт бумагу. Пальцы у неё покраснели от утренней стужи, но лицо оставалось спокойным.

— У омоложенных появляются воспоминания, которых у них никогда не было, — сказала она, глядя ему прямо в глаза. — Не просто сны, а детали: запахи, лица, слова. Как будто они помнят чужую жизнь.

— Это побочный эффект, — отмахнулся Рунов, хотя и сам не верил своим словам. — Тринадцать дел на завтра.

— Я веду эти сны сама, — настаивала она. — Я бы хотела понимать, чьи они.

Её слова повисли между ними, как бельё на верёвке — мокрое, тяжёлое, не дающее пройти. Рунов кивнул, не обещая ничего, и вышел в коридор, где уже ждали новые бумаги, новые решения, новые жизни, которые предстояло разрезать на годы. Рапорт он всё-таки взял — тяжёлый, как всё, к чему не хотелось прикасаться, и весь день тот лежал в столе, придавленный чернильницей.

К вечеру Рунов добрался до Литейного проспекта. В коммуналке №17 пахло щами, дымом и старым деревом; из-под двери тянуло сквозняком, и на подоконнике дрожала керосиновая коптилка. Мигала лампочка-«времянка», словно пытаясь о чём-то предупредить. На кухне, у плиты с тремя конфорками, толпились люди — каждый занимал своё место, как солдат в окопе. Вдова Перепёлкина, с платком на плечах, хвасталась патефоном, будто это был трофей; игла шипела на круге, и шипение подстёгивало голоса:

— За три года мужа выменяла. Теперь хоть что-то своё.

Семён, демобилизованный паренёк, сидел на табурете и молчал, сжимая в руках шапку; молчание его было громким — оно кричало о том, что он отказался подписываться донором.

Дуся стояла у окна, спиной к двери, и смотрела на Неву, где лёд скрипел под шагами дозоров. Стёкла запотели; за ними река стояла чёрная, с редкими огнями. Руки её, в застиранном переднике, были в мучной пыли — месила на вечер. Когда Рунов вошёл, она обернулась не сразу. Потом повер-

нулась медленно, и он увидел её лицо — не по бумагам, а по-настоящему: морщины, седина, усталость, въевшаяся в кожу, как копоть в штукатурку.

— Ты пришёл, — сказала она просто, без упрёка, и от этого было ещё больнее. — А я уж думала, у тебя на меня времени нет.

Он хотел сказать что-то правильное, казённое, но слова рассыпались, как сухие листья. Вместо этого налил себе чаю из общего чайника — горячая чашка обожгла пальцы, и ожиг был почти отраден после мороза.

— Дуся, — начал он. — Я…

— Не надо, — перебила она, махнув рукой. — Я не прошу жалости. Просто хочу знать: я старею, а меня нет ни в одном списке. Как это понимать? Кто решил, что мои годы не нужны?

Ему нечего было ответить. Он распределял время для всей страны — и не смог защитить родную сестру. Она смотрела на него без ненависти; только горькое понимание читалось в её взгляде: брат стал частью машины, которая пожирает людей. За окном скрипнул лёд — ещё один дозор прошёл по Неве, и Рунов машинально сосчитал шаги, как считал всегда, когда не знал, что сказать.

— Ты вершишь чужие жизни, Глебушка, — произнесла она, отвернувшись. — А родную свою защитить не смог.

В дверях появился Семён и протянул Рунову пакет, перевязанный бечёвкой, без адреса. Бумага была тёплая — он нёс

её под шинелью.

— Мол, у тебя, комиссар, каморка, там и оставлю, — буркнул он, словно оправдываясь. — А мне нести тяжело.

Рунов развязал бечёвку и вынул лист — вырванную страницу протокола. Края обрывка торчали неровно, как будто рвали второпях. В графе «резерв» уже стояла фамилия Дусиной семьи. Кто-то заранее вписал их в список, будто знал: рано или поздно понадобятся.

Руки дрогнули. Он смотрел на страницу, и мир вокруг становился тише, как будто кто-то убавил звук. Три крючка впились в сознание: рапорт Марьи об аномальных воспоминаниях, отсутствие строки о согласии в деле №4417 — и эта страница, вручённая тайком. Кто-то знал больше него. Кто-то ходил по дому сестры. И ждать больше некому.

Он вышел на лестничную площадку, где пахло сыростью и остывшей печной золой, и остановился в темноте. Внизу, за трубами, глухо постукивал подъёмный молот — город не спал. Пакет с вырванной страницей Рунов держал в кармане шинели, прижав ладонью, как держат живое.

— Не затем мне это принесли, чтобы я утешил сестру, — прошептал он в пустоту. — Принесли, чтобы я начал искать. Ждать больше некому.

Он поднял воротник и стал спускаться в темноту парадной: к утру предстояло решить, кому поверить первым — сестре или тому, кто знал о деле №4417 больше него.

Глава 2.

Утро в приёмной комиссии №4 пахло карболкой и стылым воздухом. Стулья скрипели под людьми, которые сидели не шевелясь, словно боялись, что любое движение заберёт у них ещё один год. На стене висел плакат: «Время — ресурс революции. Береги каждый год», — и буквы на нём казались тяжёлыми, как гири. Очередь из омоложенных тянулась до самой двери, и в их взглядах читалось не ожидание помощи, а страх — будто они сами не знали, что проснётся в них завтра. Некоторые, как и третьего дня на Разъезжей, держали паспорта времени под мышкой, прижимая их, как хлебный паёк. Один человек читал брошюру, водя пальцем по строкам, — по той самой, из которой потом выплыла фраза Аграфены.

Глеб Рунов стоял у порога; пальцы его машинально поправляли пуговицу кителя — привычка, оставшаяся с юности, когда он ещё верил, что опрятность спасает от хаоса. Под левой полой, между подкладкой и сукном, лежала вырванная страница протокола: с той ночи он всегда знал, где она. Марья Гвоздёва подошла к нему с тонкой папкой и кивнула на женщину, сидевшую у окна:

— Это Аграфена Ковалёва. Пришла сама. Говорит, что поёт во сне на языке, которого не знает.

Рунов нахмурился; внутри поднялось привычное раздра-

жение — не на женщину, а на саму необходимость разбираться со «странностями».

— Жалобы на сны не входят в перечень, — бросил он, но голос вышел неуверенным, будто он сам сомневался в своих словах.

В этот момент Аграфена запела — тихо, с закрытыми глазами, не для публики, а словно отвечая кому-то, кого видела только она. Мелодия была тягучей, старой, с надрывом, который цеплял за горло. Печная тяга за стеной загудела в такт — низко и ровно, как хор под сводами. Марья вздрогнула; её пальцы сжали папку до белых костяшек.

— Это из старого распева, товарищ комиссар, — прошептала она. — Его не пели с семнадцатого года.

Рунов шагнул ближе. Аграфена пела, и в звуке было что-то неправильное — не просто забытый мотив, а чужая жизнь, просочившаяся сквозь годы. От неё пахло дёгтем и воском — запахом людей, что топят чем придётся и берегут свечу на чёрный день. Он взял её карту, пробежал глазами строки — и зацепился за строчку, которую не должен был заметить: донор Аграфены умер за год до её омоложения. Он перечитал дважды, будто надеясь, что цифры изменятся.

— Тогда чьё время она получила? — спросила Марья вполголоса, и этот вопрос ударил сильнее любого крика.

Аграфена открыла глаза, посмотрела на Рунова так, словно видела его насквозь, и сказала спокойно, почти ласково:

— Вам тоже будут сниться не ваши сны, комиссар. Время

не делится, оно связано.

Рунов не ответил. Он давно выучил, что на такие фразы положено отвечать распоряжением, — но теперь тело отказывалось исполнять выученное. Слова повисли в воздухе — тяжёлые, липкие, как смола. Он приказал изъять карту и закрыть протокол, но не мог стереть из памяти фразу, особенно последние слова. Они совпадали с фразой из официальной брошюры, где им быть не полагалось. Пол качнулся у него под ногами; мысли пошли вкривь и вкось, как вагоны с испорченной сцепкой: если годы можно изъять у живого, значит, с ними можно сделать и что-то ещё — и кто-то уже сделал. Единственное, что он мог, — спрятать растерянность за резкими приказами.

Прохор Усыскин торопливо собирал бумаги, пальцы его дрожали. Пётр Данилыч молча кивнул Рунову, будто говоря: «Я знал, что это случится». Аграфена продолжала сидеть, тихая, как камень; в очереди за её спиной один старик машинально крестился и тут же испуганно спрятал руку в рукав. Рунов вдруг понял: она не сумасшедшая — она свидетельница чего-то, чего система объяснить не могла.

Он вышел в коридор, где пахло керосином и мокрой шинелью. Марья догнала его — шаги быстрые, но осторожные, как у человека, который боится спугнуть чужое решение.

— Собери статистику по неучтённым эффектам, — сказал он, не глядя на неё. — Но тихо.

Она кивнула, и в её глазах он увидел не радость, а тревогу:

она тоже понимала, на какую землю они ступают.

До консультаций по адаптации оставался час, и Рунов поднялся в учебный класс — переоборудованную комнату, которая пахла пылью и старыми чернилами. На подоконнике лежала стопка анкет с заголовком «Самочувствие после перераспределения»; сами эти слова звучали как издевательство. Четыре стула, стол — и люди, каждый из которых нёс в себе чужую жизнь, как непосильный груз.

Сапожник Гаврилов сидел, опустив голову; пальцы теребили край куртки, будто искали в ткани ответ. Учительница Ольга Ветрова, дело №4417, смотрела в окно отсутствующим взглядом — так смотрит человек, который видит не улицу, а другой мир. Рядом с ней сидел молчаливый мужчина и выводил на столешнице одну и ту же дату: 1919 год, зима. Выводил столбиком, снизу вверх, как мальчишка, отбывающий наказание, — и в каждом столбике цифры стояли чуть иначе, будто он спорил с ними, а не писал их. Напротив устроилась пожилая женщина, вздрагивавшая от каждого звука:

— Пахнет гарью. Я этого не нюхала. Это не мой запах.

Рунов сел напротив Гаврилова. Под рубашкой липла ткань — в комнате было душно, и воздух казался гуще обычного.

— Вы говорите, что разучились чувствовать голод, — начал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Как это возможно?

Гаврилов поднял глаза — в них была усталость, у которой

не было возраста.

— Раньше я знал, когда пора есть. Теперь я знаю только, когда надо терпеть.

Ольга Ветрова вдруг повернулась к Рунову и заговорила, будто продолжая давно начатый разговор:

— Я пишу стихи о голоде. Но я никогда не голодала. Я знаю вкус чёрного хлеба, которого не ела.

Она говорила тихо и сама удивлялась своим словам: так человек находит в кармане чужой билет и не понимает, как тот там оказался. Марья записывала каждое слово; карандаш скользил по бумаге, оставляя тонкие линии, как царапины. Молчаливый мужчина продолжал выводить дату, и Рунов вдруг почувствовал: эта цифра — не случайность, а ключ к чему-то важному. За окном по жёлобу бежала талая вода и глухо капала в такт карандашу. Рунов посмотрел на свои руки. Эти руки подписывали чужие годы быстрее, чем он успевал задуматься, и впервые за день ему захотелось, чтобы стакан чая был горячее.

— Это не сбои, — сказала Марья, когда класс опустел. — Это перенос. Чужая память перетекает вместе с годами.

Рунов хотел возразить, сослаться на устав, напомнить о дисциплине — но слова застряли в горле. Устав, дисциплина, перечень — эти слова стояли у него в голове, как жандармы на вокзале: чтобы никто не прошёл туда, куда не нужно. Устав не знал, что делать с человеком, который помнит чужую зиму. Он смотрел на карточки, на эти обрывки чужих

жизней, и понимал: система, которую он считал безупречной, трещит по швам.

Вечером он сел писать рапорт и попытался объяснить аномалии «временной дезориентацией». Слова ложились на бумагу неуклюже, будто сопротивлялись. Перечитав, он понял, что сам себе не верит. Смял лист и бросил в печку канцелярии. Пламя лизнуло бумагу — она вспыхнула, как признание поражения. Между прутьями ещё долго тлели угольки, и по комнате пополз запах горелой типографской краски.

Когда он вышел, Марья ждала у двери, держа в руках изъятую карту Аграфены. На полях красовалась пометка инспектора — чужая дата смерти, сделанная от руки.

— Кто-то знал, что донор умер раньше, — сказала она. — И всё равно оформил перетекание.

Рунов задержался у двери, ещё раз глянул на пометку. Вахтёр запирал вход на засов: за окном совсем стемнело, и коридор, только что гудевший голосами, осиротел за одну минуту. Рунов смотрел на пометку, и мир вокруг становился всё тише. Если это правда, система не просто ошибалась — она лгала. И кто-то внутри неё это фиксировал.

Ночь в коридоре комиссии была тихой, почти мёртвой. Редкие шаги вахтёра отдавались эхом; лампадка над доской объявлений мерцала, будто пыталась о чём-то предупредить. Рунов шёл к выходу, и пятно света от лампадки тянулось за ним по стене, обгоняя его и снова отставая. Где-то в глубине дома хлопнула дверь, и звук прокатился по коридору, задев

самый пол. Он чувствовал, как холод пробирается под кожу, и вдруг заметил у порога сложенный лист бумаги. Он поднял его; пальцы дрогнули — он знал, что не должен читать, но не мог остановиться.

«Время не делится. Разрывая связь, мы рвём ткань памяти общества», — было написано старческим почерком, с наклоном влево. Рунов перечитал фразу трижды, будто пытаясь найти в ней скрытый смысл. Те же слова, что сорвались с языка Аграфены. Те же, что напечатаны в брошюре, — только там они значили благо, а здесь звучали как приговор. Он оглянулся: коридор был пуст, лишь тень от лампадки дрожала на стене.

Утром он расспрашивал вахтёра; тот пожимал плечами и бормотал:

— Бабка одна проходила. Лицо не запомнил.

Марья стояла рядом, её лицо было серьёзным, без тени сомнения.

— Надо провести рейд по коммуналкам, — предложила она. — Найти того, кто пишет.

Рунов покачал головой. Внутри что-то ломалось: он не мог этого сделать — не потому, что боялся, а потому, что впервые сознательно нарушал инструкцию. Он спрятал записку в подкладку кителя, к вырванной странице; ткань шуршала, как шёпот.

На обороте он заметил едва различимую пометку — маленький кружок и цифру «3». Что это значило, он не знал, но

чувствовал: за ним наблюдают не враги, а союзники, подающие сигналы. Кружок и цифру так ставят на складских полках, так помечают абзацы в запрещённых списках. Он перебирал значения, как кости на ладони, и ни одно не ложилось ровно.

И ночью, в своей каморке, он лежал не спя, глядя в тёмный потолок, где мигала «времянка». Мысль, крутившаяся весь день, наконец сложилась в слова: «Я думал, что расследование началось сегодня. Но оно началось пять лет назад — просто теперь меня зовут по имени». Он хотел отогнать её, как отгоняют муху, — и не смог. Три нити, за которые он держался с той ночи на Разъезжей, — рапорт Марьи, отсутствие строки о согласии, страница из Дусиной квартиры — теперь стягивались в узел: время не делится, а кто-то распределяет его с ведома системы, зная то, чего не знает протокол. За окном на Неве скрипел лёд: шаги дозоров, шаги, шаги. И то, что пять лет его здесь никто не звал по имени, оказалось страшнее всего, найденного за неделю.

Глава 3.

Пропуск лежал в кармане кителя, тяжёлый, как чужой грех. «Ревизия трофейных документов» — так значилось в цели, и от этих слов было неловко, будто в них спрятан гвоздь остриём вверх. Рунов шёл пешком: трамваи по Пантелеймоновской ходили редко, а в очередях на пропускных пунктах не хотелось светить кителем. Закрытый фонд Наркомздрава помещался в бывшем доходном доме: узкий коридор, стены в выцветшей извести, запах карболки, под которым угадывался другой — прах и канифоль. Сторож у входа проверял бумагу так долго, что Рунов успел согреть озябшие пальцы о китель.

— Наверх сначала, — сказал сторож и показал на лестницу. — Архивариус один наверху. Свой человек.

Тихон Кириллович Сомов сидел в комнатке размером с клетушку — за столом, заваленным описями, под коптилкой, чей свет дрожал, как листва. Ему было около семидесяти, и это было видно сразу: единственный человек в Петрограде, у которого лицо имело право на возраст. Седые брови, руки в чернильных пятнах, ворот, аккуратно застёгнутый на все пуговицы. Он поднял глаза не сразу — сначала дочитал строку, как полагается.

— Ревизия трофейных бумаг, — прочитал он вслух и отложил пропуск. — Кто вам это слово дал, комиссар? Тро-

фейные. Так бывает с табунами, с пайками. Бумаги не бывают трофейными. Бумаги бывают честными и нечестными.

— По форме всё правильно, Тихон Кириллович.

— По форме и кладбище правильно. А по смыслу вы пришли за одной бумагой — и сами её ещё не знаете.

Рунов потянул воротник. В горле стояла заготовленная фраза о служебной необходимости, и он понимал: произнесёт — уйдёт с пустыми руками.

— Тогда я скажу по смыслу, — сказал он вместо этого. — Я комиссар распределений. И хочу понять, как устроено то, что устроил.

Старик долго смотрел на него. Потом придвинул вторую табуретку — не приглашение, а жест водопоя.

— Садитесь. Отвечу на один вопрос и задам один. Вы омоложены?

— Пять лет назад.

— Значит, вам в молодости не дано. Оттого и лезете. — Он провёл ладонью по бумагам, разгоняя пыль. — Я отказался. Письменно. Меня уговаривали сначала в форме докладной, потом по-человечески. Знаете, что говорят люди? Что я предал дело революции, отказавшись от прогресса. А я не предал дело. Я отказал должности, которую мне предлагали, и жалеть о ней не могу.

— Почему вы отказались? — спросил Рунов и слышал, как вопрос звучит буднично, а внутри стоит, как проглоченный камень.

Старик ответил не сразу. Он поправил коптилку, и свет выровнялся.

— Я придумал себе смерть заранее, комиссар. Она моя — собственная, не фондовая, не отчётная. Это последняя свобода, какую мне оставили, и я её не отдам. — Он помолчал. — Вы не старый человек, но, наверное, уже знаете: у нас отняли не годы. Отняли конец. А без конца и середина не имеет веса.

Рунов хотел возразить — про поколения, про пользу, про то, что живой учёный ценнее мёртвого, — и услышал собственную мысль чужим голосом, как когда-то в зале заседаний. Проигрывать спор у себя в сердце оказалось удобнее, чем вслух.

— Ладно, — сказал Тихон Кириллович и встал. — Вы пришли не спорить. Пойдёмте.

Он повёл Рунова вниз, в подвал, минуя ящики с описями; по дороге прихватил со стола огарок, козью ножку и махорку — жест маленький и понятный. В подсобке пахло сухим клеем и печью, которую давно не топили. Тихон Кириллович снял с полки папку без номера, просто перевязанную суровой ниткой, и положил на ящик.

— Неопубликованные записи Мечникова. Изъяли в девятнадцатом. Я их не прятал и не выкрадывал. Я их держал. — Он отступил на шаг. — Не подумайте коварства. Правду нельзя заставить лежать в порядке. Она всё равно выпадает из папки.

— Вы знали, что это государственная тайна.

— Я знал, что это человеческая беда. Тоже тайна, но у неё не было грифа. — Старик усмехнулся одними глазами. — Читайте. Но на один вопрос бумаги вам всё равно не ответят: кто подписал изъятие. Ищите не в бумагах — в подписях.

Рунов потянул нитку. Бумаги открылись, мягкие, пожелтевшие по краям, — и в нём дрогнуло что-то, похожее на страх перед чужими буквами, которые пять лет ждали его в подвале.

Через двадцать минут, скрипя на ступенях, вниз спустилась Марья — с папкой описей под мышкой, запыхавшаяся, с раскрасневшимися щеками.

— Вызвали для сверки описей, — сказала она, глядя на ящики, а не на папку. — Я поняла по вызову.

— Сверяйте, — сказал Рунов и придвинул лампу.

Он читал, и слышал, как за спиной, у входа, ровно дышит Тихон Кириллович — так соблюдают минуты тишины после заупокойной службы. Записка Мечникова была цельная — та самая, чей обрывок Рунов носил теперь в подкладке кителя, развёрнутая, с полями, исписанными убористым, торопливым почерком. «Перераспределение» шло у Мечникова не как биология. Он писал о связи: время одного человека не вырезается, оно подшивается к другому вместе с памятью носителя. Целая история — со вкусами, со страхами, с голосом матери — переезжает в чужое сознание, как мебель при высылке.

«Мы открываем не бессмертие, — читал Рунов, — а банк, где заём обязательно возвращается с процентами. Но платят не деньги».

Он прочёл это вслух — не для Марьи, просто чтобы услышать. И в подвале слово «проценты» прозвучало похоронно. За тонкой перегородкой капала вода: где-то текла труба и отсчитывала капли вместо секунд.

— Товарищ Гвоздёва, — спросил он, не оборачиваясь. — Сколько вам было, когда вас лечили от тифа?

Вопрос вышел не по-уставному, и он сам это заметил. Марья села на перевёрнутый ящик, и что-то в её спине сгорбилось, будто за все годы она впервые нашла место, где можно сгорбиться.

— Двадцать один. Семь лет дали. Мать их отдала.

— Отдала — или у неё изъяли?

— Это одно и то же, комиссар. Так было написано в извещении.

— Извещение писала комиссия. А вы спросите у памяти. — Он замолчал и открыл последний лист записки. — Мечников пишет: время подшивается с памятью. Целиком. Ваша мать не отдала семь лет, Марья Сергеевна. С памятью их взяли. Значит, где-то живёт кусок её — и он не думает о вас словами, которые вы помните.

Марья не ответила. Она расстегнула манжету — просто так, без надобности, — и Рунов увидел, как дрожит у неё кисть. Потом заговорила, ровно, как давая показания:

— Я всегда считала это справедливостью. Дочь выжила — значит, мать не зря. Теперь не знаю, товарищ Рунов. Если её время живёт в ком-то ещё — с её запахами, с её песней, — то она умерла не до конца. Или не начала. Я не знаю, как это назвать.

В этот раз он не отмахнулся. Он запомнил, как она произнесла «не до конца», и подложил под это слово что-то своё, в чём не признавался и себе.

Копировали молча: Рунов выводил строки в блокнот, Марья держала лампу, Тихон Кириллович сидел на ящике и катал новый огарок в папиросную бумажку — не курил, только катал; пальцы помнили движение лучше, чем голова. В конце часа Рунов опустил руку на дно папки и наткнулся на лист, которого в описи не значилось. Список первых добровольцев, восемнадцатый год. Десяток фамилий, у каждой — дата и подпись согласия. Одна строка была залита чернилами — не каплей, не небрежностью: зачернена ровно, аккуратно, с намерением. Внизу листа — резолюция: «Изъять из учёта. Смольный, секретариат».

— Его не вычеркнули из списка, — сказала Марья тихо. — Его вычеркнули из страны.

Тихон Кириллович не обернулся. Он смял так и не зажжённую папиросу и сказал в пустоту:

— В тот год вычеркнули троих. Двое из них теперь управляют вами.

На выходе, у последней ступени, он притронулся к рукаву

Рунова.

— Уходите поодиночке. И посмотрите, кто стоит напротив окна дворника.

Дворник цедил воду из бочки, а напротив его окна, у трамвайной остановки, стояли двое в ватниках. Не смотрели на дверь — смотрели поверх, на окна второго этажа, и от этого смотрели ещё страшнее: они уже всё разглядели. Рунов прошёл мимо, не ускоряя шага, и почувствовал, как на лбу выступила мелкая испарина, хотя ветер кусал за щёки. Марья вышла следом через пять минут, с описью, как приказано, и они не обменялись ни взглядом.

— Они за Тихоном Кирилловичем, — сказала она вечером в служебной комнате, не поворачиваясь к нему. — Не за нами. Мы им прицеп.

Рунов застёгивал манжеты, и пальцы не слушались.

— Я хочу предупредить его.

— Придёте с предупреждением — они его запишут. Придёте за ним — они его уведут раньше. Вы ничем ему не поможете, только покажете, что мы в связке.

Он понимал, что она права, и от этой правоты хотелось ударить по столу. За окном во дворе гремела крышка мусорного ящика — звук до того будничный, что казался издевательством. Он сидел, сжимая в кулаке ложку, словно ложка была вещью, которую можно испортить. Ночью лежал, не раздевшись, и смотрел в потолок. Впервые за пять лет он представлял себе человека, которого знал полдня, и не знал,

жив ли тот ещё.

Три дня спустя в архиве стоял новый запах — сахарного чая и духов. В комнатке у коптилки сидела молодая сотрудница, энергичная, с рукавами, закатанными до локтя: «Повышение по линии идеологии», — сказала она легко, будто говорила о повышении по линии снабжения. Тихона Кирилловича не было. Утром за ним подъехала машина — «на переаттестацию», — и сослуживцы с тех пор не называли его иначе как «предшественник».

Рунов вышел на крыльцо, туда, где вечером разговаривал со стариком. Трамвай прозвенел и унёс звон. Марья догнала его, прижавшись к стене от ветра.

— Вы понимаете, что если он умрёт — записка умрёт вместе с ним? — спросила она. — Он единственный, кто помнит весь текст.

— Записка — копия, — сказал Рунов. — Подлинник живёт в подкладке кителя.

Он сказал это впервые вслух и услышал, как по-новому звучит слово «подлинник». Не бумага. Он сам. Он взял на себя то, что старик держал семь лет.

Марья не улыбнулась. Она смотрела на пустое окно второго этажа.

— Тогда вы теперь хранитель, комиссар. И вас будут искать, как искали его.

Вечером, разбирая переписанные страницы, она вдруг остановилась. Служебная записка Мечникова в Смольный

— просьба «о личной аудиенции по вопросу условий эксперимента». Внизу — входящий штамп и расшифровка приёмной: дежурный секретарь, фамилия. Рунов взял лист в руки, и внутри похолодело. Эту фамилию он слышал недавно — в разговоре о резерве для Дуси. Один и тот же человек стоял у истока и у изъятия.

А ночью, добираясь до запасного жилета, он нащупал под подкладкой кителя бумагу, которой туда не клал. Клочок, сложенный вчетверо: адрес коммуналки на Обводном и одно слово — «ровесницы». Почерк — старческий, с наклоном влево. Тот самый, что оставил записку в коридоре. Кто-то снова был у его двери. Кто-то знал, что он ищет, раньше, чем он сам это сформулировал.

Рунов сидел у окна до рассвета и держал клочок, как держат неоплаченный счёт. «Система заметила нас раньше, чем мы начали. Но кто-то движется быстрее системы — и ведёт нас, как на помочах, туда, куда надо ей».

Глава 4.

Клочок с адресом на Обводном лежал на столе под углом к лампе, и адрес читался с обрубленным упрямством, как напечатанное обещание. Рунов не спал до четвёртого, переворачивал бумажку, как монету, и к утру понял простую вещь: его поведут. Не запугают, не предупредят — поведут, как слепого за руку, и покажут то, что должно испугать. С этим знанием он и поехал.

Коммунальная квартира №9 на набережной Обводного канала пахла прифронтовой уборной и старым чаем. В большой комнате, где за ширмой доили право на сон трижды, стояли три кровати — одна старше другой, как рассказы об одном дне. Зеркало в рост человека было заклеено газетой до половины: «чтобы не пугаться», — сказала бы хозяйка, но хозяйки не было: была очередь из трёх лиц.

Дарья Егоровна встретила его стоя, обтерев руки о фартук — так обтирают о фартук ложку. По паспорту времени ей было двадцать пять. По голосу — иная эпоха.

— Сундук наш, комиссар, — сказала она, не садясь. — Выпишите его на меня.

— Сундук отошёл фонду по уставу, гражданка.

— По уставу отменили собственность. А вечность семьи отменили? — Она подняла на него глаза, и в них было не старческое, а человеческое, невыносимое терпение. — Я же-

на бывшего. У меня сын умер. У меня внук умер. У меня остался правнук и сундук. Из всего, что я прожила, осталось железо с дном. Позвольте мне его хоть отпеть — потому что вы хоронить его не разрешаете.

Рунов достал блокнот. Рука писала «отказ, по мотивам устава» — и он смотрел на эти буквы, как на чужие.

За ширмой на краю кровати сидела Аксинья — вторая из трёх. Она молчала с той минуты, как он вошёл, глядя в одну точку на заклеенном зеркале. У третьей кровати стоял Егорка, правнук, сжав кулаки: у него был вид человека, который всю ночь дразнил судьбу, и всё ещё не выходит.

— Меня вызывают в комиссию, — сказал он глухо. — Мою невесту. Помолвку — «на пересмотр». Потому что я — ровесник прадеда. Прадеда! — Он почти смеялся, и от этого смеха Рунову стало жарко в воротнике. — Она говорит: не выходит за ровесника прадеда. А я её понимаю, комиссар. Я себя понимаю.

Внутренний голос Рунова, казённый и выглаженный, подсказывал: вписать в протокол «семья как социальная единица подлежит унификации», поставить штамп, уйти к одиннадцати. Но руки не двигались. Он поймал себя на сочувствии — и, как на пожаре, захотел вынести его из комнаты. Комиссару не положено. Комиссару можно устав, регламент, трибуну.

Дарья вдруг заговорила громче, голос сорвался на крик, но не на слезу: слеза у неё, видно, кончилась раньше, чем

воскресенье.

— Вы отняли у меня и смерть, и старость, и право сказать «я прожила»! Я ждала, что хотя бы прощена буду — а у нас теперь и прощения нет, потому что живые не прощают, а вечные не умирают! Что вы мне оставили?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.